

«Кто видит в снах супругу Лотову...»

Родился в г. Куйбышеве (сейчас – г. Самара). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Живу в г. Санкт-Петербурге.

Скорин

Отдел встревожен – гудит и спорит,
волненью вняв:
завскладом Павел Петрович Скорин
пропал на днях.

Во вторник вышел со всеми вместе,
пошёл домой.

И вот такие дурные вести,
о боже мой...

Стремясь глухую сдержать тревогу,
порыв слезы,
сидим гадаем, шагают в ногу
гипотезы:

лежит в кювете, бредёт по кругу
лесной тропой,
сменил гражданство, уехал к югу,
ушёл в запой.

– Да молодую нашёл невесту,
лукавый сыч!

– Считаю, шутки сейчас не к месту,
Михал Ильич!

– Я ж для разрядки, простите, Люда.
Не к месту, да...

Из философских: пришёл откуда,
ушёл куда?..

Все эти слухи отводят гневно,
меняя тон,

его супруга Любовь Андревна
и сын Антон.

Директор Тюрин молчит в кручине,
держа фасон.

А накануне коллеге Нине
приснился сон:

гуляет будто она за речкой,
вокруг – сады,
а Пал Петрович сидит со свечкой
вблизи воды.

Бормочет тихо, кривясь от боли,
над кипой смет:
«Все цифры, Нина, сегодня в сборе,
а смерти – нет...»

Встаёт, заходит в речную тину
вперёд спиной.
И вдруг за платье хватает Нину:
«Пойдём со мной!
Нам нужно альфу, затем омегу
поднять со дна!»

И вот, споткнувшись, уже по снегу
бежит она.
И будто кто-то с глазами волка
ей вслед глядел...

Похоже, будет довольно долго
бурлить отдел.

Пройдёт полгода, расставив точки
и городки;
пойдут по клумбам цвести цветочки,
расти ростки.

Из дома выйдешь (заняться нечем)
в сплошную синь.
– Любовь Андреевна, добрый вечер!
Как Вы? Как сын?

В ответ пошутит, что жизнь, мол, чаша,
а дни – вода,
и вдруг заплачет: – Простите, Саша...
Всё как всегда...

И от внезапности этой встречи
сбоит чутьё:
теряешь мысли, и части речи,
и дар её.

Молчишь неловко и смотришь мимо,
и мир молчит.
И ощущаешь, как нестерпимо
июнь горчит.

Дорожное

Саше Либуркину

Понимаешь, курица – не птица,
глиняный солдатик – не колосс,
в жизни есть призвание катиться,
двигаться неспешно под откос.

Мчит метро, грохочут самосвалы,
самолёты оставляют след.
Видишь, рельсы, видишь, Саша, шпалы –
надо ехать, надо брать билет.

Наобум – без планов и вопросов,
без царя в коробке черепной,
двигать в Тосно, в Сланцы, в Ломоносов,
к чёрту на кулички по прямой.

Доверяясь шумному потоку,
составлять маршрут от фонаря,
колесить по югу и востоку,
западные ветры матеря,

за окно вагонное коситься,
ни черта не думая в пути,
где придётся нам остановиться,
на которой станции сойти.

* * *

Паше Синельникову

Не по вызову крови,
не по воле суда
друг мой вышел в Коврове –
и пропал навсегда.

Хоть сейчас небылицу
по сюжету пиши.

А ведь ехал в столицу
из такой же глуши.

Неумно, бестолково
так вот сбиться с пути –

что там было такого,
что позвало сойти?!
Поиск благостной доли,
мысль о рае земном?
Мальвы пыльные, что ли,
под обычным окном?
Или выбрал построже
городскую среду?
Мальвы, думаю, всё же –
цвет их робкий в саду.

* * *

Ты один и я один.
Умер Вася Бородин.

За окном бушует лето,
веселится третий Рим,
а Василий умер – это
факт, и он неоспорим.

Он бы щас ругался матом
и с поэтами кутил,
но патологоанатом
даже это запретил.

Душно, тесно в смертном часе,
стрелки движутся едва,
пустота в груди у Васи,
а снаружи змейка шва.

Птица кружит без усилий,
человеку не дано –
ты же это знал, Василий,
наклоняясь за окно.

Но теперь-то бесполезно
говорить тебе: «Постой!»,
у тебя во взгляде бездна –
ужас тайны за чертой.

Спит земля, ещё вращаясь,
под землёю – пустота,
жизнь течёт в неё, кончаясь,
красной стружкой изо рта.

* * *

Нас вычеркнут однажды и привет –
как будто нас и не было на свете.
Не более чем выдумки в газете,
нелепые – нас не было и нет.

Мы призраки былого ремесла,
эпохи, прошагавшей под речёвку,
нас век смахнёт как выцветшую чёлку,
как пыль с библиотечного стола.

Как певчих птиц с неведомых картин,
запутавшихся в русском алфавите,
нас вытолкнут – давайте, мол, летите.
И мы взлетим.

* * *

Последствием трагических аварий
к Семёнову являлась как к себе
одна из этих вымышленных тварей
с крючком стальным в разорванной
губе.

Семёнов пил, Семёнов спал тревожно,
во сне своём невнятное крича,
а тварь садилась рядом осторожно
с набором средств дежурного врача.
В пустой стакан накапывала капель,
поджав кровотокающую губу,
и щупальце, холодное как скальпель,
скользило по семёновскому лбу.
И лунный свет сползал на одеяло,
оконный переполнивши проём,

но ночь уже давно не оделяла
Семёнова счастливым забытьём.
Он открывал глаза и видел снова
сквозь медленно сгущавшуюся тьму,
как эта тварь из мира внеземного
плыла по тёмной комнате к нему.
И глаз её блестящая монета,
и головы светящийся овал...
Семёнов помнил, где его планета,
Семёнов план побега рисовал.
И на часы взглянувши как на компас,
в котором стрелки бились, но не шли,
открыл окно и вышел в чёрный
космос
на поиски затерянной Земли.

* * *

Этой ночью, пожалуй, смиряешься с мыслью о том,
что господь – это снег – бесконечное ровное поле.
И молчит человек, и сказать ему нечего, что ли,
онемевшим, зашитым суровыми нитками ртом.

А вокруг – красота, в чёрном воздухе белые реки,
взнет клён по больное колено в пушистом снегу.
Что, как автору, мне о молчащем сказать человеку,
если имя ему я никак подобрать не могу...

Был бы повод иной, так придумал бы сказку иную,
где с надеждой глядит человек в белоснежную тьму.
И Господь наклоняется сам к человеку вплотную.
И не видит его. И не любит его потому.

* * *

Кто видит в снах супругу Лотову,
кто ангелочков в облаках,
а ты встречаешь Любу Глову
с семьёй кошачьей на руках.

Глядишь назад – дорога пройдена,
а впереди, а по бокам
свистит, хохочет, плачет родина,
грозит белёсым облакам.

Бредёшь с вопросами проклятыми,
мусолишь тайну бытия,
а тут она ещё с котятками
как квинтэссенция ея.

Всё веселее, всё угрюмее
глядит нахмуренный восток –
о это русское безумие,
знакомый с детства холодок.

* * *

Ни призраком во сне, ни волком, ни котом
не приходи ко мне ни завтра, ни потом.
Когда сырая мгла обнимет шар земной,
как чёрная пчела не прилетай за мной.
О ненависть моя, ты ближе всех друзей,
подвижна, как змея, как очередь в музей.
Ещё моя душа страдает и болит,
бредёт, едва дыша, среди гранитных плит,
цветов и воронья, надежду затая,
что ненависть моя – почти любовь моя
к тому, кто здесь уснул. Ему накоротке
я руку протянул. И что в моей руке?

* * *

Ну что тебе сказать, весёлому невежде?..
Нескучные сады по-прежнему скучны.
Подробно описать мешает, как и прежде,
увязший в голове осколок тишины.

Последний листопад последнего поэта
в седеющий висок целует невпопад,

и нарастает шум нестройного дуэта
оркестра духового и лопат.

Зачем опять про смерть, про чёрные ворота,
про медных трубачей, что мучают тебя?!
Зачем она опять стоит вполоборота,
на платье белый бант смущённо теребя?..

Давай уже про свет, про лодки с парусами!
Про двадцать тысяч лье и бегство из тюрьмы,
про радостных людей, которые мы сами,
а после о других, которые не мы.

Усни уже, мой друг, под хруст столичной булки.
Всё сбудется во сне, о чём ни попроси.
Очнёшься поутру в холодном переулке –
ни веры, ни любви, ни денег на такси.

Да плюнь уже на всё и поезжай в Саратов
(с чего такое вдруг слетело с языка?),
где долгая река, тебя в ладони спрятав,
раскачивает замки из песка.

* * *

Вернёшься в город, понимая,
что лето кончилось уже,
а ты везёшь остатки мая
в садово-дачном багаже,

что от зимы одни убытки,
что свет меняется на тьму,
и эти скромные пожитки
теперь полгода ни к чему.

С деревьев рыжая, сухая
листва летит за горизонт.
И, с сожалением вздыхая,
что дачный кончился сезон,

поймёшь вдруг, вынув из коробки
случайно вползшего жука, –
не лето выдалось коротким,
жизнь коротка.